

ЛЮДИ В ГРЯЗНОМ



Аркадий Лаптев

Аркадий Лаптев

Люди в Грязном

Серия «Брат Афоня», книга 3

<https://litres.ru/73962789>

SelfPub; 2026

Аннотация

Что делать двум заслуженным алкашам Афоне и Федосу, если утром в их дверь постучали две старухи-побирухи и собрали последнюю мелочь на похороны несуществующего покойника? Разумеется, самим стать этими старухами. К Афоне с Федосом присоединятся: Буратино, комнатный калдырь с деревянными мозгами и одним желанием, чтоб налили Катя, бывшая журналистка, которую ударило током. Яшка, король африканского племени Тумба-Юмба с лексиконом из двух слов «Якши!» и «Мал-мала». Сугроб, жадный шаман с биткоидами. и Хмурый, богатырь, рвущий крокодилов пополам.

В городе, где завод отравляет воздух, мэр крутит по телевизору один лишь балет, а культ «Золотого тельца» призывает к нищете, сидя в «Бугатти» с жареной свиньёй, банда устроит революцию. В прямом смысле. Чёрная комедия, гротеск, абсурд и сатира. Иногда великие утопии сняты обычным людям перед работой. А иногда обычные люди сняты Афоне, Федосу и Буратино. Кто кому снится, неизвестно. Но лучше не просыпаться.

Аркадий Лаптев

Люди в Грязном

Книга третья

Люди в Грязном

Пролог

Два кредо, или Краткий курс выживания в условиях гравитации.

Если вы когда-нибудь просыпались в собственной обуви с чувством, что вчерашний день был лучшим в вашей жизни, хотя вы решительно ничего не помните — добро пожаловать в мир Афони и Федоса. Эти двое не просто жили в городе Сантехников, они были его ферментами, его дрожжами, тем самым осадком, без которого напиток жизни был бы пресен и не бил по голове.

Они не были героями в привычном смысле. Герои спасают мир, платят налоги и умирают молодыми. Афоня и Федос мир не спасали — они его сбразживали. Всё, к чему они прикасались, начинало бродить, пузыриться и выделять спирт. Это не было пороком. Это была технология.

Кредо Афони (Философия ферментации):

Афоня считал, что Вселенная — это огромная бочка с брагой. Всё в мире бродит. Капуста квасится. Виноград сбразживается. Молоко скисает, превращаясь в кефир, а кефир, в свою очередь, в мудрость. Человек, по мнению Афо-

ни, тоже должен бродить. Лежать на диване, накапливать внутренний градус, взаимодействовать с дрожжами бытия. Торопиться некуда. Смысл жизни не в том, чтобы куда-то бежать, а в том, чтобы дойти до кондиции.

— Смотри, Федос, — говорил он, разглядывая на свет мутную бутылку, — это не просто водка. Это слеза вселенной. Она плачет от того, что мы все когда-нибудь умрём. Но плачет она именно спиртом. Значит, внутри трагедии всегда сидит оптимизм. Надо только уметь его выпить.

Алкоголизм Афони не был бегством от реальности. Он был формой её познания. Трезвый человек видит мир разобраным на детали: грязный пол, немытые окна, просроченная колбаса. Пьяный видит картину целиком: пол — это земля, окна — это небо, колбаса — это плоть. Всё едино. Всё бродит. И Афоня, лёжа на панцирной кровати, чувствовал себя не тунеядцем, а закваской. Если он сегодня не выпьет, завтра мир просто скиснет неправильно.

Кредо Федоса (Грабь награбленное и пропивай, пока не поймали):

Федос был проще. Если Афоня был философом ферментации, то Федос — практиком экспроприации. Он искренне, до дрожи в левом глазу (том самом, что дёргался после встречи с кукушкой), верил, что собственность — это кража. А раз так, то кража у собственников — это восстановление справедливости.

— Понимаешь, Афоня, — объяснял он, доедая чужую колбасу, — есть закон кармы. То, что у тебя украли — украдено было у кого-то до тебя. Наша задача — изъять это из порочного круга и перевести в благородную форму. В водку. Потому что водку украсть нельзя. Её можно только выпить. Это конечный этап.

Он не был вором в законе. Он был стихийным перераспределителем. Всё, что плохо лежит, должно быть пропито, пока за ним не пришли. И приход этот, как подсказывало Федосу его чутьё (и трясущийся глаз), был неизбежен. Поэтому медлить нельзя. Жизнь — это спринт от одной рюмки до другой, а между ними — короткие перебежки с чужой мелочью в кармане.

Вместе они составляли идеальный тандем. Афоня обеспечивал теоретическую базу. Федос — материальную. Один лежал и бродил. Второй бегал и добывал. Оба были счастливы ровно до того утра, когда в их дверь постучали две старухи с пакетом и таким количеством наглости, какое не снилось даже им.

Глава 1.

Сказ о том, как две старухи-побирухи, пробегая мимо, завербовали двух алкашей в похоронный бизнес.

Утро в хрущёвке наступило не сразу. Оно долго мялось в коридоре, спотыкалось о разбросанные ботинки и, наконец, нехотя вползло в комнату сквозь немытые стёкла.

Афоня спал на старой панцирной кровати. Кровать была из той породы вещей, которые не ломаются, а лишь обрастают легендами. Панцирная сетка провисла до самого пола, и Афоня лежал в ней, как в гамаке, только без моря и в одежде. Каждый его вдох сопровождался скрипом пружин, а выдох — лёгким присвистом, словно где-то в груди у него тихо умирала губная гармошка. Он спал в ботинках. В тех самых, в которых прошёл пол-России, а потом ещё пол-Африки. Ботинки были предметом спора с Федосом, который утверждал, что обувь надо снимать, но Афоня считал, что настоящий сантехник должен быть готов к прорыву в любую минуту.

Федос спал в углу, на старом матрасе, который когда-то был белым, а теперь приобрёл цвет трудовой мозоли. Он, в отличие от Афони, ботинки снял. И зря. Потому что вонь от его невымытых ног, прошедших огонь, воду и туалетную кабинку, теперь разъедала чугунные батареи. В прямом смысле. На батарее, той, что стояла у ног, уже облупилась краска. Ржавчина, казалось, наступала не от старости, а от ужаса. Воздух в квартире был плотным, как кисель. Он пах пельменями, пеплом, носками Федоса и лёгкой ноткой просроченной «Докторской», которая ещё вчера казалась Афоне лекарством, а сегодня уже сама просилась на покой.

На обшарпанном столе царил натюрморт эпохи застоя. Полбанки огурцов. Рассол из банки вытек, и теперь по газете, служившей скатертью, расползалось мутное пятно. Газета, к

слову, была рекламной. С первой полосы улыбался депутат — человек с лицом человека, который недавно откинулся с кичмана и теперь предлагал избирателям «светлое будущее и достойную жизнь». Пятно от рассола как раз накрывало его лозунг «Голосуй за стабильность», и от этого казалось, что депутат немного вспотел. Рядом с банкой сиротливо стояла тарелка с недоеденными пельменями. Один пельмень, видимо, оказался слаб духом и упал на газету, приклеившись к депутатскому лбу, как монокль. Тут же — пепельница, переполненная окурками, из которой, как флаг, торчал облюновленный бычок. И, наконец, жемчужина композиции — обглоданная рыба. От неё остались только кости и голова. Голова смотрела на Афоню с немым укором. Рядом лежал кусочек хлеба, надкусанный и забытый.

В дверь постучали.

Сначала посетитель, видимо, жал на звонок. Но звонок не работал уже сто лет. Афоня ещё при заселении, в порыве философского гнева, вырвал его с мясом, сказав: «На дому не принимаю». Теперь на месте звонка торчали два скрученных проводка, которые постоянно, желающих позвонить, били током.

Поэтому стучали. Стучали настойчиво. Возможно, ногой. Бум. Бум. Бум.

Дверь, державшаяся на честном слове и трёх гвоздях, вздрагивала. Со стены в коридоре слетел отрывной календарь за 1997 год. Афоня во сне перевернулся на бок, пробормо-

мотал: «Галина Ивановна, я больной» — и снова захрапел. Федос, напротив, заворочался. Его мозг, даже в отключке, чуял опасность. Стук был слишком ритмичным. Так стучат либо менты, либо кредиторы, либо женщины, с которыми ты вчера познакомился, а сегодня уже женат.

Бум! Бум! Бум!

Настойчивей. Теперь уже точно ногой. Старая советская дверь, обитая дерматином, гудела, как барабан. Рыбья голова на столе подпрыгнула. Пельмень-монокль скатился с депутатского лба. Афоня открыл один глаз.

— Кого там черти принесли? — прохрипел он, не меняя позы.

Федос сел на матрасе, дико озираясь. Его левый глаз дёргался — привет от кукушки.

— Афоня, это за мной, — прошептал он. — Или за тобой. Или за нами обоими.

— Лежи, — сказал Афоня. — Может, уйдут.

Но они не ушли. Бум. Бум. Бум. Дверь уже начинала прогибаться. С потолка посыпалась побелка. Где-то в глубине квартиры что-то упало — кажется, вешалка, которая держалась на соплях.

— Открывай, — вздохнул Афоня. — А то дверь вынесут. И кто будет новую ставить? Я не буду. Ты не умеешь. Открывай.

Федос нехотя поплёлся к двери. Каждый шаг давался ему как подвиг. Во-первых, он ещё не до конца проснулся. Во-

вторых, его левый глаз всё ещё дёргался после встречи с кушковой, и мир в этом глазу двоился, отчего казалось, что в квартире две двери, два Афони и два матраса. В-третьих, он боялся. Он доковылял до двери, стараясь не дышать. Прильнул к глазку. Глазок был старый, мутный, засиженный мухами трёх поколений. Снаружи виднелось что-то расплывчатое, серое, возможно, человеческое, а возможно — и куча неприятностей. Федос отстранился, протёр глаз (оба), снова прильнул. Ничего.

— Кто там? — спросил он голосом, который должен был звучать грозно, но прозвучал как блеяние.

— Откройте, пожалуйста, — ответил не молодой женский голос.

«Пожалуйста» — это насторожило. Менты так не говорят. Кредиторы — тоже. Женщины, с которыми ты вчера познакомился, говорят «открой, скотина». А тут — «пожалуйста». Что-то новое.

Федос отодвинул засов (засов был самодельный, из гнутого гвоздя и петли, оставшейся от старого почтового ящика) и приоткрыл дверь.

На пороге стояли две женщины. Лет шестидесяти пяти и семидесяти, хотя, учитывая их образ жизни, им могло быть и сто, и двести — время в этом городе текло не по паспорту. Первая — пониже, в сером платке, завязанном под подбородком тугим узлом, который делал её лицо похожим на пельмень. Пальто на ней было когда-то драповым, а теперь

— драным. В руках она держала пакет, который явно помнил ещё талоны на сахар. Вторая — повыше, сухая, как вобла, в очках. Она держалась чуть позади, переминалась и нервно теребила пуговицу, которая болталась на нитке и грозила вот-вот оторваться.

Вроде нормальные. А вроде мошенницы. Сразу не поймёшь.

Федос уставился на них. Молчание затягивалось.

— Чё надо? — спросил он наконец грозно. Получилось опять не очень грозно, но хотя бы без бляения.

Женщины переглянулись, и та, что в платке, затараторила:

— У нас вчера в доме мужчина умер... Хороший такой... Собираем на похороны... Кто сколько может, кто сколько может... Вы уж не откажите...

Вторая вторила, как эхо:

— Кто сколько может, кто сколько может... Сколько не жалко...

Они тараторили, перебивая друг друга, так что слова слипались в один ком: «мужчина умер собираем на похороны кто-сколько может».

Федос молчал. Он полез в карман. В кармане, как обычно, было пусто, но в самой глубине, в складке подкладки, завалялась мелочь. Он выгреб всё, что было: два по рублю, пять, три по десять копеек, мятая бумажка непонятного достоинства и пуговица.

— Нате, — сказал он и вывалил сокровище женщинам в

пакет.

Женщины синхронно заглянули в пакет. Их лица на мгновение выразили то, что обычно выражают лица людей, которым подали пуговицу вместо денег. Но они быстро справились.

— Спасибо, сынок, — прошелестели они. — Тебе воздастся... И близким твоим... И дому твоему...

И, не договорив, они развернулись и очень быстро, очень-очень быстро побежали вниз по лестнице. Их шаги просту-чали по ступенькам, как азбука Морзе, которую отбивает испуганный дятел. На площадке между этажами та, что повыше, споткнулась о пустую бутылку, но даже не замедлилась — лишь взмахнула рукой и исчезла за поворотом.

Федос постоял, глядя в пустой проём. Снизу донёсся стук подъездной двери. Потом тишина.

Он закрыл дверь, задвинул засов-гвоздь и побрёл обратно к матрасу.

— Кто там? — спросил Афоня, не открывая глаз.

— Похороны, — ответил Федос. — У кого-то. Две бабки собирают.

— А много дал?

— Двадцать рублей и пуговицу.

Афоня помолчал.

— Ну, пуговица — это хорошо.

И снова захрапел. А Федос сидел на матрасе, смотрел на рыбью голову, и в его груди теплилось чувство выполненного

долга. А теперь пора и завтракать.

Сковородка шкворчала. Федос, вооружившись ножом, который когда-то был опасной бритвой, а теперь — универсальным инструментом, священнодействовал над плитой. Плита была старая, газовая, с конфоркой, которая зажигалась только спичками и с третьей попытки. Первые две попытки ушли на ругань и лёгкий хлопок, от которого у Федоса подпалилась бровь. Но результат того стоил: яичница шкворчала, пузырилась и пахла так, что даже рыба голова на столе, казалось, немного ожила и принялась.

Федос водрузил сковородку прямо на газету. На депутата. Тот, уже покрытый рассолом и пельменным моноклем, теперь принял на себя ещё и горячее дно. Яичница была поделена по-братски: Афоне — два глаза и край, Федосу — всё остальное.

Затем Федос достал из-под стола бутылку. «Белая Горячка» — гласила этикетка, нарисованная, видимо, самим производителем, потому что буквы плясали, а слово «водка» было написано с двумя «т» и одной «к». Водка была мутной, как утренний туман над Лимпопо, но другой не было. Федос разлил остатки по двум гранёным стаканам. В одном стакане плавалдохлый комар. Федос выловил его пальцем, щелчком отправил в угол и сказал:

— Самим мало.

Выпили. Закусили. Помолчали.

— Помнишь деревню? — спросил Афоня, отрезая край

яичницы ножом, который до этого резал колбасу, хлеб и, кажется, линолеум.

Федос кивнул.

— А море? — продолжал Афоня. — Ашот. Чурчхела. Помнишь, как ты чурчхелу...

— Помню, — вздохнул Федос. — Ещё б её не помнить.

— А Африка, — Афоня поднял стакан. — Яшка. Король. Дворец из говна и палок.

Федос улыбнулся, но в глазах была тоска.

— И чего нам в Африке не сиделось? Там тепло. Бананы. Жён — сорок штук. У меня пять было.

— Так надо, — сказал Афоня. — Это путь самурая.

— Какого ещё самурая?

— Самурай, Федос, идёт не туда, где тепло. Самурай идёт туда, где трудно. Где снег. Где холод. Где водка «Белая Горючка». Где просроченная колбаса. И он не ноет. Он ест яичницу и молчит.

Федос помолчал. Потом заглянул в бутылку. Там было пусто. Заглянул в карман. Там тоже.

— Денег нет, — констатировал он. — Всё пропито. Даже мелочь, что на похороны отдал, и та — последняя.

— Да, — согласился Афоня. — Положение — хуже некуда.

Повисла пауза. Рыбья голова смотрела с укором. Депутат под сковородкой, казалось, тоже укорял, но уже с сарказмом.

— Слышь, Афоня, — Федос понизил голос. — А что, если

нам... это... пойти на дело?

— На какое дело?

— Ну... стать двумя бабками. И начать шакалить деньги по квартирам. На похороны соседей.

Афоня поперхнулся яичницей.

— Ты что, Федос? Мы ж не мошенники!

— А кто мы?

Афоня задумался. Потом посмотрел на бутылку «Белой Горячки». Потом — на рыбу голову. Потом — на свои ботинки, которые не снимал третью неделю.

— Ладно, — сказал он. — Уговорил. Но не потому что я мошенник. А потому что нам нужен начальный капитал. Для более крупных операций.

— Для каких? — оживился Федос.

— Для таких, — отрезал Афоня. — Главное, деньги найди.

Федос полез в шифоньер.

Шифоньер был старый, скрипучий, с зеркалом, в котором отражался только ужас. Афоня никогда не открывал его без нужды. Там, в недрах, хранилось то, что осталось от прежних жильцов, прежних родственников и прежней жизни, которую Афоня пытался пропить, но не смог. Потому что вещи были очень страшные.

Федос извлёк на свет два платья. Первое — серое, в мелкий цветочек, который, казалось, был живым и расползался по ткани. Второе — коричневое, с люрексом, который

не блестел, а тускло мерцал, как болотный газ. К платьям прилагались: платок пуховый, но траченный молью настолько, что напоминал рыболовную сеть; парик соломенного цвета, свалывшийся в комок; туфли тридцать седьмого размера (Афоня носил сорок второй); и бусы, которые при ближайшем рассмотрении оказались макаронами, покрашенными лаком для ногтей.

— Это что? — спросил Афоня, безгловато беря парик двумя пальцами.

— Это имидж, — ответил Федос. — Бабки должны выглядеть убедительно. Чем страшнее бабка — тем больше подают. Убогих на Руси жалеют. Красивых — нет. Так что это наша униформа.

— Логично, — признал Афоня.

И они начали наряжаться.

Федос натянул серое платье. Оно затрещало по швам, но выдержало. Сверху повязал платок, предварительно вытряхнув из него остатки моли. Моль, кстати, никуда не улетела — она пересела на матрас и стала ждать развития событий. Афоня облачился в коричневое. Платье было ему коротко и открывало волосатые ноги в ботинках. Парик он водрузил на голову, не расчёсывая. Парик смотрел в разные стороны и придавал Афоне вид человека, которого только что ударило током.

— Ты на бабушку не похож, — сказал Федос, оглядывая товарища. — Ты похож на трансвестита, которого выгнали из

цирка.

— А ты похож на пугало, которое спёрли с огорода, — парировал Афоня.

— Отлично, — сказал Федос. — Значит, нам подадут. Он взял целлофановый пакет. Встряхнул его и проверил на дырки. Дырок не было — для мелочи сойдёт.

— Стой, — сказал Афоня. — А легенда?

— Какая легенда?

— Ну, у тех бабок легенда была: мужчина умер, собираем на похороны. А у нас кто умер?

Федос задумался. На его лице отразилась напряжённая работа мысли — редкое зрелище, похожее на попытку завести двигатель зимой. Потом он просиял:

— А у нас умерла женщина. Вслед за мужем отправилась, не выдержав разлуки. Это же логично. У них там горе, а у нас — горе вдвойне.

— Федос, — Афоня уважительно покачал головой. — Ты не просто мошенник. Ты драматург.

— Я — практик экспроприации, — скромно ответил Федос, вспомнив своё кредо. — Грабь награбленное, пока не поймали.

И они, две страшные бабки, одна — с париком, другая — с молью на плече, вышли из квартиры и начали спускаться по лестнице. На площадке второго этажа им встретился сосед — мужик в пальто. Он посмотрел на них, перекрестился и быстро захлопнул дверь.

— Хороший знак, — сказал Афоня. — Значит, образ работает. Люди уже крестятся. До денег — полшага.

И они двинулись дальше — шакалить деньги на похороны несуществующей женщины, чья смерть была лишь продолжением несуществующего мужчины, придуманного теми, кто обокрал их первыми. Круг замыкался. Ферментация справедливости началась.

Глава вторая.

Сказ о том, как Афоня и Федос открыли сезон альпийского нищенства, взяв штурмом девятый этаж без страховки.

Девятый этаж они решили начать сверху — с десятого. Тактика была проста: спускаться вниз, чтобы лишний раз не попадаться на глаза тем, у кого уже брали на похороны несуществующих родственников. Федос, как прирождённый экспроприатор, понимал: нищий нищему волк, а бабка бабке — конкурент. Если дважды зайти в одну дверь с одним и тем же покойником, можно и по шее получить. А легенда у них, прямо скажем, была неоригинальная.

— Работаем чисто, — наставлял он Афоню, пока они пыхтели по лестнице. — Заходим, плачем, берём, уходим. Никакой самодеятельности. Ты, главное, молчи. У тебя голос как у простуженного буксира. А я буду страдать. Страдать у меня хорошо получается.

Афоня не спорил. Он вообще считал, что в любом деле главное — правильно распределить роли. Федос — голос и

слёзы. Он сам — немая скорбь и фактура. Его волосатые ноги в ботинках, торчащие из-под платья, должны были не отталкивать, а, напротив, внушать жалость. «Смотрите, люди добрые, — как бы говорили эти ноги, — до чего доводит горе».

Десятый этаж встретил их тишиной и запахом жареного лука. Федос потянул носом, и в его глазах мелькнула тоска по нормальной еде. Но он взял себя в руки. Они подошли к первой двери.

Дверь была, обитая коричневым дерматином, протёртым до ткани в том месте, где обычно стучат. Глазок отсутствовал — вместо него торчал клочок ваты. Над дверью висел талисман: подкова, прибитая гвоздями вниз рогами. «Счастье вытекло», — прокомментировал Афоня, но Федос шикнул на него, нажал на кнопку звонка, и где-то в глубине квартиры раздалось дребезжание, похожее на предсмертный крик сверчка.

За дверью зашаркали шаги. Шаркали долго, с передышками, словно шёл не человек, а маленький, но упрямый ледник. Наконец замок щёлкнул, дверь приоткрылась на цепочку, и в щели показалось лицо.

Это была старушка. Не просто старушка, а Старушка с большой буквы, экземпляр, достойный Красной книги. Маленькая, сухонькая, в ситцевом платочке, завязанном под подбородком узелком-кукишем. Лицо сморщенное. Глаза — выцветшие, голубые, с тем особым прищуром, который бы-

вает у людей, переживших войну, голод и три денежные реформы, но так и не научившихся доверять государству. Одежда она была в застиранный халат в горошек, который, казалось, стирали так часто, что горошины начали исчезать, оставляя после себя лишь бледные пятна. На ногах — шерстяные носки и галоши. Галоши в квартире. Это был симптом. Симптом того, что бабушка привыкла ходить по грязи и не видела смысла переобуваться, даже когда грязи не было.

За её спиной виднелся коридор. Узкий, тёмный, заставленный так, что пройти можно было только боком и на выдохе. На стене висел велосипед «Кама». Велосипеду было лет сорок, и он явно никуда не ездил — на нём висели авоськи с луком. Рядом с велосипедом возвышался комод, на комод — трёхлитровая банка с чем-то мутным (возможно, компот, возможно — самогон, возможно — химический реактив, учитывая близость завода), а на банке — статуэтка балерины без одной руки. Балерина стояла в позе, которая кричала: «Я танцевала ещё при Сталине, а теперь охраняю раскол». Пол в коридоре был устлан половиком, сотканным из тряпочек всех цветов радуги, но радуга эта давно выцвела до состояния «всё серое, но местами чуть темнее». Пахло старостью, воском и валидолом.

Федос оценил обстановку мгновенно. Бабушка жила небогато, но чисто. А чистые небогатые бабушки — самая благодарная аудитория для похоронных историй. Они ещё помнят, что такое хоронить близких, и ещё верят, что мило-

стыня зачтётся. Афоня, напротив, смотрел на галоши и думал о том, что бабушка — крепкий орешек. В галошах дома ходят только практичные люди.

— Здравствуйте, бабушка, — начал Федос и тут же осёкся. Голос его дрогнул, левый глаз задергался, и он понял, что пора входить в роль. Он сложил руки на животе, чуть ссутулился, стал ниже ростом и, как ему показалось, даже легче весом. — Беда у нас, бабушка... Беда...

Старушка прищурилась ещё сильнее. Её взгляд скользнул по Федосу, по его серому платью, по платку, из которого торчала моль, и остановился на Афоне. Точнее, на его ботинках.

Федос, всхлипнул. Вдох был такой горестный, такой надрывный, что балерина на банке, кажется, покачнулась.

— Ой, бабушка, — запричитал Федос, переходя на фальцет. — Тут горе такое, такое горе! У нас соседи умерли! Хорошие такие люди! Сначала мужчина помер, а вслед за ним и женщина! Прямо друг за другом!

Старушка сняла цепочку и приоткрыла дверь пошире. Теперь она видела их полностью: две страшные бабки, одна — с трясущимся глазом, вторая — с париком, который смотрел на восток и на запад одновременно.

— Кто умер? — спросила она требовательно. — Где?

Федос махнул рукой куда-то в сторону лестничной клетки и дальше, за окно, за крыши, туда, где на горизонте дымил завод.

— Да вон, соседи наши, — сказал он, импровизируя. —

Там живут. Ближе к заводу. Хорошие люди были. Работающие.

Старушка перевела взгляд в окно. За окном, на фоне серого неба, возвышались трубы химкомбината. Завод имени Семидесятилетия Борьбы за Экологию. Это был не просто завод. Это был организм. Живой, дышащий, кашляющий. Днём и ночью он извергал из своих труб клубы дыма всех оттенков таблицы Менделеева. Здесь были: охра, сурик, бирюза, цвет детской неожиданности и оттенок ада. Дым не просто висел над городом — он оседал, проникал в форточки, души, пропитывал занавески и характер. Воняло просроченным электролитом, тухлой серой и ещё чем-то таким, чему даже химики не придумали названия, а местные жители окрестили просто: «Опять вонища». Люди задыхались в прямом и переносном смысле. Дети рождались с зелёными пальцами, но это был не талант к садоводству, а лёгкое отравление медным купоросом. Воробьи падали в обморок, а голуби, те, что выжили, летали строем и кашляли, как старые большевики на собрании. Зато местный губернатор, человек с лицом откормленного хряка и глазами, полными сытой пустоты, каждый год награждал завод грамотами и кубками. «За вклад в развитие города», «За экологическую ответственность», «За чистоту родного края». Кубки стояли в проходной завода, сверкали золотом, и рядом с ними на стене висел диплом «Лучшее предприятие по утилизации отходов», под которым мелким шрифтом было дописано: «в ат-

мосферу, реку и почву, но красиво». Губернатор приезжал, жал руку директору, пил с ним чай (привозил с собой в термосе, потому что местную воду пить было нельзя — она шипела), и уезжал обратно в областной центр, оставляя после себя шлейф одеколона и обещаний.

Старушка посмотрела на завод, потом на Федоса, потом снова на завод. В её глазах что-то мелькнуло. То ли понимание, то ли подозрение.

— Так они что ж, от завода померли? — спросила она.

Федос на секунду задумался, не сменить ли легенду на «собрание жертв экологической катастрофы», но решил не усложнять.

— Да нет, бабушка, — завыл он с новой силой, переходя почти, что в оперный регистр. — Они сами по себе померли! Сердце! Сначала у него сердце остановилось, а у неё — от горя! От разлуки! Она как узнала, что его нет, так и рухнула! Прямо на пол! И даже яичницу не доела! Ой, горе-то какое! На каво ж ты нас оставил, соседushка?! — Федос воздел руки к потолку и покачнулся, изображая крайнюю степень отчаяния. Моль, сидевшая у него на плече, взлетела и пересела на люстру в коридоре.

— И женщина вслед за ним! Осиротели мы! Одни остались, как две былинки в поле! Не на что похоронить! Всё в копеечку влетает!

Тут вступил Афоня. Он подошёл к Федосу, обнял его за плечи своей волосатой лапой и начал утешать. Утешал он

басом, и это было страшно.

— Ну будет тебе, Нюра, будет, — гудел он, и стёкла в коридоре дребезжали. — Не убивайся ты так. Люди добрые помогут. Не оставят в беде. Потому что похороны — это такое дело. Сегодня ты похоронил кого то. А, завтра похоронят тебя.

Прозвучало как угроза.

Он повернулся к старушке и добавил доверительно, понизив голос до интимного рыка:

— Вы не представляете, бабушка, какие нынче цены на ритуальные услуги. Гроб — отдельно. Венки — отдельно. Оркестр — отдельно. А копать? А могила? А поминки? Это ж целое состояние! Мы уж всё продали, что могли. Вот, — он указал на Федоса, — даже платье с себя последнее сняли, чтобы продать, да кто ж его купит? Оно молю едено. А у меня, — он одёрнул коричневый подол, — и вовсе с чужого плеча. С мёртвого.

Старушка молчала. Она смотрела на них, и в её морщинистом лице происходила борьба. Боролись практичность («это мошенники, гнать их в шею») и жалость («а вдруг нет? вдруг правда горе?»). Боролось советское воспитание («помоги ближнему») и постсоветский опыт («ближний тебя же и обворует»). Ветераном этой битвы была сама старушка, и пока что счёт был равный.

Федос, видя её колебания, решил добавить последний штрих. Он рухнул на колени, прямо на тряпочный половик.

Колени гулко стукнулись об пол.

— Бабушка! — взвыл он, протягивая пакет. — Помоги хоть копеечкой! За упокой души людей, которых мы даже не знали, но которые были нам как родные!

Старушка дрогнула. Она посмотрела на коленопреклонённого Федоса, на Афоню, который пытался изобразить скорбь, но у него получалось изобразить несварение, и вздохнула.

— Ладно, — сказала она. — Сидите тут. Сейчас принесу.

И она ушла вглубь квартиры, шаркая галошами по половику. Шаги её удалялись, прошуршали мимо велосипеда, мимо комода, и где-то в дальней комнате скрипнула дверца шкафа.

В коридоре повисла тишина. Афоня и Федос переглянулись. Время замедлилось. Мошь на люстре тихо доедала абажур.

Вернулась старушка. В руках она держала пятьсот рублей. Новенькую, хрустящую купюру. Она протянула её Федосу, всё ещё стоявшему на коленях, и сказала строго:

— Нате.

Федос принял купюру двумя руками, прижал ко лбу, всхлипнул и, пятясь, пополз к выходу. Афоня помог ему подняться, поклонился старушке в пояс, отчего парик съехал ему на левое ухо, и сказал басом:

— Спасибо, мать. Тебе воздастся.

Старушка ничего не ответила. Она закрыла дверь, задви-

нула засов и вернулась к своему компоту, своей балерине и своему одиночеству. А наши герои, с пятьюстами рублями в пакете, двинулись вниз, на девятый этаж. И они приготовились страдать заново.

Глава третья

Сказ о том, как комнатный калдырь обрел, погоняло Буратино, а заодно и смысл жизни.

Дверь открыл мужик лет пятидесяти, хотя слово «открыл» не вполне отражает то, что произошло. Дверь сначала долго сопротивлялась, скрипела, цеплялась за косяк плечом, а потом распахнулась рывком, словно её толкнули изнутри не рукой, а всей безнадёгой, скопившейся в квартире за десятилетия.

На пороге стоял он — комнатный калдырь. Тихий, домашний, почти аквариумный. Подвид алкоголика, который никогда не выходит на улицу, потому что на улице — люди, а люди требуют объяснений. Одет он был в мятую рубаху, которая когда-то, при царе Горохе, была белой, а теперь напоминала карту боевых действий: пятна пота, следы пролитого портвейна, подпалина от сигареты и что-то жёлтое, происхождение чего он и сам не помнил. Трико на нём было рваное на обоих коленях, и сквозь прорехи выглядывали острые коленные чашечки, похожие на два очищенных грецких ореха. Лицо его выражало ту особую степень придурковатости, которая бывает у людей, разучившихся удивляться, но ещё не разучившихся радоваться. Глаза смотрели в разные

стороны, но не потому что косили, а потому что каждый глаз жил своей жизнью. Из рта у него воняло так, словно там, за зубами, уже неделю разлагалась какая-то мелкая ихтиофауна. Запах был плотный, почти видимый — с нотками выгребной ямы, кислых щей и застарелого перегара, который не выветривается, а переходит в новую, более устойчивую форму материи.

Увидев на пороге двух чудиков в женских платьях — одно серое, в цветочек, другое коричневое, с люрексом, — калдырь не испугался. Он приосанился. Расправил плечи. Втянул живот (не получилось). И, сияя щербатой улыбкой, произнёс:

— О! Дамы? Вы ко мне? Проходите, проходите. Только у меня не убрано.

Он посторонился и, желая произвести впечатление радушного хозяина, заметил на полу коридора грязные семейные трусы. Трусы лежали там, вероятно, неделю, а может, и месяц, и уже начали вращаться в линолеум и разлагаться. Калдырь решил исправить ситуацию. Он сделал ловкое движение босой ногой — попытался поддеть трусы носком и забросить их в комнату, подальше от глаз «дам». Но ловкость была не на его стороне. Нога дёрнулась резче, чем он планировал, трусы взлетели вверх, описали дугу и, к всеобщему изумлению, повисли на люстре. Люстра была старая, одноламповая, с плафоном в виде тюльпана, и теперь на этом тюльпане красовался вялый матерчатый цветок совсем ино-

го рода.

Афоня ничего не сказал. Он вошёл следом и сразу начал оглядываться. Федос тоже зашёл и тут же включил профессиональный режим: левый глаз задёргался, правый забегал по углам, выискивая, что можно спереть. Но искать было нечего.

Квартира оказалась беднее, чем у Афони. А это, прямо скажем, было достижением. У Афони хотя бы имелась панцирная кровать, которая не ломалась. У этого же бедолаги не было даже кровати. Он спал в куче старого белья, сваленной в углу комнаты. Куча состояла из рваных простыней, наволочек без пуговиц, какого-то ватина, который вылезал наружу жёлтыми клочьями, и одного пододеяльника, который, судя по узору «огурец», помнил ещё Брежнева. Мебель отсутствовала как класс. Вместо стула — перевёрнутый ящик из-под пива. Вместо шкафа — гвозди, вбитые прямо в стену, на которых висело всё небогатое имущество: одна футболка, одна рубашка, и авоська с дырой. На полу, вперемешку с окурками, валялись пустые бутылки из-под «Белой Горячки» и стеклотара от портвейна «Сивуха» — видимо, единственной марки, которую он признавал.

Федос оценил обстановку мгновенно. Притворяться здесь было бессмысленно. Искать, что экспроприировать, — тоже. Тут даже на опохмел не наскребёшь. Всё, что можно было пропить, — пропито. Всё, что нельзя пропить, — пропито тоже.

Афоня, даже не комментируя увиденное, прошёл вглубь квартиры, увидел дверь туалета, подошёл к ней, распахнул и встал над унитазом. Дверь он оставил открытой настежь. Смысла церемониться не было: все свои, да и какая разница, если ты в платье и парике, а из-под подола торчат ботинки сорок второго размера.

Он сначала пёрднул. Звук был трубный, густой, с переливом — словно протрубил старый лось. Калдырь вздрогнул и устоял на Афоню. Но то, что последовало дальше, заставило его забыть про звук. Афоня, нимало не смущаясь, задрал коричневое платье, явив миру волосатые ноги, синие трусы и всё остальное хозяйство, после чего начал стоя отливать. Струя ударила в унитаз с такой силой, что в тишине пустой квартиры этот звук показался оглушительным.

Комнатный калдырь замер. Его глаза, до того смотревшие в разные стороны, на секунду сфокусировались в одной точке. Такого он не видел никогда. Баба — и ссыт стоя. Как мужик. Как матёрый такой мужик после трёх дней запоя. Это было за гранью его понимания. За гранью его предыдущего опыта. За гранью биологии, в конце концов.

Он перевёл взгляд на Федоса, ища объяснения. Но Федос уже переключился с ревизии квартиры на ревизию личности хозяина. Он подошёл вплотную, так что запах изо рта калдыря ударил ему прямо в лицо, но Федос даже не поморщился — нюхал и не такое.

— Тя звать-то как? — спросил он в лоб.

Калдырь открыл рот. Закрыл. Снова открыл. В его голове что-то закрипело, заскрежетало, но так и не завелось. Он не помнил, как его зовут, уже лет пять. С тех самых пор, как перешёл с простого самогона на элитные напитки вроде водки «Белая Горячка» и портвейна «Сивуха», которые, действуя в тандеме, выжгли его память дотла. Там, где у нормальных людей хранятся имя, дата рождения и номер паспорта, у него теперь плескалась мутная лужа с радужными разводами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.